

**АЛЕКСАНДР  
СУКОНИК**



**МЕСТА  
ИЗ ПЕРЕПИСКИ**

## МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ

**АЛЕКСАНДР  
СУКОНИК**

**МЕСТА  
ИЗ ПЕРЕПИСКИ**



«ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

---

Москва

---

2001

ББК 84(2Рос=Рус)6  
С 89

**Александр Суконик**

С 89 Места из переписки. — М.: Языки славянской культуры,  
2001. — 200 с. — Вклейка: 16 с. после с. 200.

ISBN 5-7859-0212-5

Книга содержит путевые заметки оригинального литератора и профессионального фотохудожника. В семидесятые годы автор покинул Советский Союз, в настоящее время живет и работает в США.

ББК 84(2Рос=Рус)6

*Обложка М. Зайцева  
(в оформлении использованы фотографии, сделанные автором)*

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 7859-0212-5



9 785785 902121 >

© А. Ю. Суконик, 2001

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,  
и ее распространение без согласия издательства запрещается.



Эти письма вполне могли быть найдены в том самом лукошке, в котором прятали свою переписку Меджи и Фидель.

«...итак, будем все терпеть, всему верить, все переносить,—будем милосердны».

*Чаадаев,*  
«Апология сумасшедшего»

## Содержание

Письмо первое . . . . .	9
Письмо второе . . . . .	29
Письмо третье . . . . .	60
Письмо четвертое . . . . .	129
Письмо пятое. . . . .	182
Письмо шестое . . . . .	195
<i>Список фотографий . . . . .</i>	<i>197</i>

Дорогая XYZ,

...Прежде всего—о той сценке в Альказаре и в связи с этим о «левых» и «правых». Должен сказать, что самый музей, который находится в крепости, поразил меня: я был к нему не подготовлен. Я слишком долго живу в Америке, этом передовом бастионе сегодняшнего гуманизма, принявшего облик «политической корректности», и, сколько бы ни возмущался и ни иронизировал в ее адрес, все равно мое восприятие мира изменилось под ее влиянием. А тут, переходя с этажа на этаж, точнее, с одного яруса крепости на следующий, вдруг обнаруживаю, что музей этот целиком военный и вовсе не посвященный каким-то далеким «некорректным» временам, от которых он отгораживается дистанцией стороннего взгляда, а напротив, совершенно как бы погруженный в них и сейчас. Не могу сказать, какие детали создают такое ощущение: может быть, изрядно попользованные пистолеты с надписями, кому и в какое время они принадлежали, или собрание оловянных солдатиков на третьем этаже? Насчет пистолетов: их подбор дышит интимной заботой, ну вот как если бы у нас в советское время выставили личное оружие героев Гражданской войны. Опять же оловянные солдатики: что им тут делать? В них мерещится какая-то чрезмерность или простая и открытая увлеченность военным делом. Уже позже я узнаю, что эта часть Испании всегда мрачновато славилась воинами и во время гражданской войны была, кажется, больше на стороне франкистов, так что все совпадает... И вот теперь та самая комната, в которой непрерывно крутят по плохому динамичу на нескольких языках театрализованный диалог между осажденным франкистским генералом и республиканцами, когда республиканцы приводят к микрофону захваченного ими сына генерала, предлагают в обмен на его жизнь сдачу крепости, и как сын и генерал выкрикивают «да здравствует родина!»,

и как генерал отказывается от компромисса и сына ведут на расстрел...

Теперь насчет той статейки, которую вы приложили. Вы, конечно, правы в вашем сожалеющем выкрике: почему, почему, почему у левых нет чувства юмора? Конечно, они узкие и догматические люди, но, с другой стороны, у них трудная роль по определению: когда люди хотят, как говорится, «идти вперед», сохранить юмор и грацию невозможно, эта позиция всегда неуклюжа и в свою очередь может быть легко осмеяна (снимите на видеокамеру человека, пытающегося перепрыгнуть через лужу, а потом поглядите на отдельно замершие кадры). Это тем, кто желает сохранить статус-кво, присуща элегантность жеста, даже если они политически ангажированы.

Но я ангажирован своим одиночеством. Поэтому зрелище комнаты, которая, будто по мановению волшебной палочки, битком набивается молчаливыми испанцами именно в тот момент, когда пленка с английского и французского переходит на испанский, кажется мне забавным. Кроме того, частота повторения сценки уничтожает ее трагичность и превращает во что-то напоминающее музей восковых фигур. Но как испанцы узнают, когда начнется испанская передача? Каково их мнение по поводу разыгрываемого эпизода? Их суровые и простые лица не выдают никаких эмоций, как будто они принимают все к сведению, откладывают про запас на тот случай, когда придет время снова сводить счеты с очередными республиканцами или очередными фалангистами.

Тут, однако, интересно не это известное нам с вами и набившее оскомину деление на левых и правых. Я бы вообще не назвал ту статью левой в привычном смысле слова, потому что в ней присутствует модная гуманистическая тенденция — тенденция, так сказать, *ограниченного благоразумия*. Мол, коль скоро выигрыш невозможен, ставка, равная жизни, морально неприемлема. Автор с негодованием и презрением осуждает франкистского генерала не за его фашистскую или реакцион-



ную идеологию вообще, но за то, что тот предпочитает абстрактный идеализм конкретной ситуации. Тогда выходит, что республиканцы морально правы только потому, что их выигрыш реален (крепость окружена и все равно падет), а генерал моральный урод только потому, что жертвует жизнью сына, не имея ни малейшего шанса выиграть. Всякий истинно практический политик сообразил бы, в какой эмоционально невыгодной роли находятся республиканцы, потому что не их ситуация трагична, но не таков наш автор, сам одержимый догматик похлеще генерала. Тем симптоматичней то, что хочу подчеркнуть. Я замечаю тенденцию «ограниченного благоразумия» у самых разных людей Запада. Есть ли она следствие фрейдизма? Есть ли она, с другой стороны, следствие провала грандиозных идеологических замыслов двадцатого века? Или она появляется в результате девальвации идеализма как такового, то есть потери веры в любую идеологию? Или тут срабатывает «женская» тенденция времен успеха феминизма (потому что для женщин жизнь мужчин важнее, чем их героизм)? Или же «еврейская» тенденция, то есть та традиция сохранения жизни почти любой ценой, которая особенно развивается в пессимизме диаспоры? Скорей всего тут одно, второе, третье, четвертое и пятое вместе, и эта тенденция, думаю, так же характерна для европейской цивилизации конца двадцатого века, как характерна для нее победа «гнилой демократии» над блеском выкованных из стали и прочих твердых материалов коммунизма и нацизма.

Вот об этой победе я и хотел поговорить с вами, верней, о скрывающейся в ней двусмысленности: об идее, которая, по моему лукавому убеждению, находится у самых истоков жизни, в основе всего, что происходит во Вселенной. То есть, быть может, никакой двусмысленности во Вселенной нет, а есть она только в моем воображении, что же, пусть так, пусть я останусь наедине со своим воображением здесь, в своем американском бытии, да, да, так даже лучше. Быть может, я был бы в Риме Брут, в России — офицер гусарский, в Испании —

король Фердинанд, которому льют на голову холодную воду, но здесь я имею все права индивидуальной личности и могу говорить все, что хочу, не правда ли? Надеюсь, вы не усомнитесь в здравости моего ума, если скажу, что с некоторого времени я все больше и больше начинаю слышать и видеть такие вещи, которые мало кто видит и слышит. Ладно, я балуюсь, а между тем по здравом размышлении могу сказать, что одиночество очень помогает и многое проясняет тут. Например, я понимаю, что идея двусмысленности, то есть идея хаоса (что одно и то же), невыносима для людей и что люди хотят порядка,—но что мне до того? Что до того, что люди хотят только прямых и однозначных ответов насчет тех самых «истоков жизни» и той самой Вселенной? С какой важностью и серьезностью они воюют друг с другом за «самые правильные» Порядок и Целостность, беря сторону то той религии, то этой, то одного философского направления, то другого, то вообще сторону наук (полагая при этом себя наибольшими реалистами), а между тем... Скажу вам почти серьезно: я не до конца уверен, что луну действительно изготовили в Гамбурге, однако то, что науки, философии и религии в известном смысле суть одно и то же, более не секрет для меня. Все они разрабатывают рецепты, как наилучшим образом сварить компот Определенности и Порядка, которым можно накормить человечество, чтобы подсластить ему жизнь. А я между тем объявляю, что не желаю никаких компотов. Меня, может быть, привлекает двусмысленность хаоса, безразличная истина природы, голова Медузы Горгоны, на которую чем дольше смотришь, тем верней чувствуешь себя мертвецом. Однако же из своего мертвецкого состояния скажу вам, что не променяю его ни на какие компоты, потому что оно, быть может, самая жизнь и есть. Чем больше приближаешься к истине природы, тем больше твой рот растягивается в ухмылке, а душа затаивается в тоске. И, приближаясь, ты настолько удаляешься совершеннейшей точкой в космос, что рано или поздно начинаешь смотреть на человечество будто в обратную сторону подзорной трубы: ишь, какая четкость изображения мельчайших

деталек, как на полотнах Брейгеля или Босха, и одновременно какая смехота... Назвать такую двусмысленность мукой жизни? Пожалуйста. Назвать ее самым что ни на есть испытанием человеческой натуры (под «натурой» я подразумеваю все то, в чем никак не заподозришь наличие «культуры»)? О да, с изрядным основанием. Вот ни в нацизме ни в коммунизме не было двусмысленности, и в этом смысле они давали человеку несравнимое отдохновение от самого себя — увы, на короткое время. Демократия же победила не потому, что она «выше» диктатур по культурной, интеллектуальной или волевой организованности, а наоборот, потому, что, может быть, даже «ниже» и куда более походит на броуновское движение, то есть на всеобщий хаос. Разумеется, ей, в свою очередь, далеко до хаоса жизни, она тоже увязла в установках и порядках, но, может быть, дело идет к тому... или мне хочется, чтобы шло к тому? Что за странное желание! А между тем не совсем странное, если обратить внимание, что когда люди вопят, жалуются, настаивают, требуют порядка, *они имеют в виду исключительно порядок вокруг себя*, в то время как чихать им на хаос, что внутри них! Более того, свой личный, внутренний «маленький» хаос они, напротив, склонны холить и лелеять, потому что он — средство насилия над другими людьми, в то время как хаос, что их окружает, делает их беспомощными игрушками в чужих руках... Так вот, когда понимаешь это, удивительно ли, что испытываешь вышеупомянутое желание?

Обычные люди ищут порядка в масштабах семьи и небольшого числа подчиненных, но есть другие, те, кто с примечательной настойчивостью работают уже не в семейных, а в глобальных масштабах. О, это и есть спасители человечества. Те самые, кому известны главные Истины Порядка и все Аксиомы Однозначности, ни больше ни меньше. И даже если потом, когда развеется дым, оказывается, что никаких аксиом не было, а так, парочка-другая жульнически сомнительных теорем, за которые понапрасну загублено энное количество жизней... Что ж, это не впервые — вся история существования человечества, может быть, заключается в том, чтобы абсолют

принимался за относительность, а относительность за абсолют, это у людей называется «жить духовной жизнью»... Поскольку я много лет полагал, что «жить духовной жизнью» необыкновенно почтенно, то в теперешнем повороте своей жизни особенно ощущаю одиночество и с особой остротой замечаю, как противоречие и двусмысленность в природе сплетаются друг с другом и из их любовного объятия рождается тот самый парадокс, который, по моему мнению, и есть единственно «цельный» способ постижения реальности. И я знаю, что когда выбираю противоречие, то по крайней мере приближаюсь, насколько это возможно, к реальности, не теряю напряжения, не сдаюсь филистерству односторонности...

Конечно же, к моей трансформации следует подходить с иронией, а не с восклицательным знаком: здесь не столько человек играет на трубе, сколько судьба играет человеком, что всегда несколько потешно. Я посягаю на некие человеческие ценности с таким гротеском, потому что я продукт своего времени и своего общества. Стоит ли говорить, что советское время было одним из самых упорядоченных в истории человечества? Но это не все. Пик моего так называемого «духовного возмужания» приходится на шестидесятые годы, и именно эти годы были, как это ни парадоксально, самыми гладкими, благополучными и однолинейными, еще похлеще ортодоксальных советских лет. Я имею в виду то, что по всем признакам их следует назвать годами «пробуждения», а между тем никакого настоящего пробуждения вовсе не случилось. Это так называемое пробуждение имело отношение к поверхности, к тем чертам советской действительности, которые можно назвать «новыми», «революционными», даже «случайными» или «уникальными», но более скрытые ее черты — в известном смысле закономерные и неизбежные, шедшие от конфликтов и запросов прошлого — совершенно не принимались во внимание. Советская действительность в своем подспудном и глубоком смысле пыталась не достичь каких-то новых «высот коммунизма», а остановить ту эволюцию, которую на са-



мом деле совершала по направлению к голове Медузы Горгоны европейская цивилизация. Разумеется, с точки зрения торжества Однозначности и Порядка голова Медузы означает безусловную смерть, и тут нет ни малейшего предощущения другой возможности, которую народное сознание выражает через сказку про Иванушку-дурачка, ныряющего в чан с кипящей смолой и появляющегося оттуда несказанным красавцем. Так вот, шестидесятые годы, нападая на советчину политически и идеологически, на метафизическом уровне продолжали ее задачу, помогая ей маскироваться под иные идеологии.

А-а-а, конечно, шестидесятые годы, диссидентство, чтение «Доктора Живаго» и Солженицына, самиздата и тамиздата, открытие Платона и русской идеалистической мысли, новообращенческие восторги и прочее... Все это наполняло нас фальшивым ощущением собственной значительности, способности якобы философски и независимо мыслить, творчески постигать реальность, обнаруживать свободу. На самом же деле конструкция нашего мышления ни на йоту не изменялась. Единственным, в чем мы оказывались творчески автономны и точны, был наш сарказм по отношению к советской власти, то есть наше сугубо негативное мышление, а между тем, согласно всем истинам, формулам и иерархиям, которые мы с благоговением заимствовали у прошлого, негативное мышление не слишком котирировалось. Через это неумение оценить, то есть найти себя, чтобы уже, отталкиваясь от этого, искать собственную иерархию, выявлялась наша неспособность к независимому мышлению, и все происходило, повторяю, на фоне гладкой стабильности накатанных и безусловных понятий, которые мы вычитывали из книг.

Помню, как во времена своей романтической шестидесятилетней молодости читал с замирающим сердцем — кажется, у Норберта Винера, но это вообще носилось в воздухе — философствования на тему законов термодинамики, как упорядоченная система противостоит энтропии, и потому возник-

новение порядка—это вызов хаосу, и что возникновение высокоорганизованной органической жизни на Земле—это случайность в какой-то невероятной степени в противовес той же энтропии. А уж человек, мол,—это случайность невероятной степени в квадрате и проч. И еще, например, что произведение искусства—это нечто степенью **выше** в смысле упорядоченности по сравнению с жизнью и потому на степень же приближается к постижению жизненной сути... Вода на ту же романтическую мельницу: вот какие мы донкихоты порядка или, по крайней мере, приближения к порядку. К тому самому наивысшему порядку, который, несомненно, лежит в самой середке и глубине (если только туда добраться) жизни... Что же, спрашиваю, разве не таким же образом мыслят монотеистические религии, с одной стороны, и науки—с другой, и потому Норберт Винер не ведет ли примерно по той же одноколейке, что и второстепенный моралист Бердяев?

Философствующих моралистов я пока оставляю в стороне и скажу, что хотел бы сделать с учеными, желающими философствовать: я хотел бы лишить их дара человеческой речи. Хорошо бы научиться распознавать призвание будущих ученых с детства, открыть такой ген, который как метка на лбу, и как только родилось дитя—тут же его в отдельный для ученых вундеркиндов загон. А там только на  $= + \cdot < ^ \wedge > \# @ \% \geq \downarrow \Sigma \alpha \lambda$  и идут разговоры, вот тогда и установился бы на земле настоящий порядок. Пусть орудуют знаками ученых формул и законов. Тут ничего не имею против, потому что порой наслаждаюсь этими формулами, они вносят в мою душу иллюзию порядка не меньшую, чем Шекспир и Достоевский. А Шекспир и Достоевский *вносят* в конечном счете в мою душу вдохновение, как и в вашу, как и в души тех, кто «понимает толк в литературе», не так ли? То есть после всех «ужастев», которыми полны их произведения? И вовсе не потому даже, что добро у них каким-то образом побеждает зло (втихаря и жульнически, но ведь побеждает!), а благодаря четкой и *упорядоченной* разделенности добра и зла—как и положено, со-

гласно Винеру или Бердяеву, в следующей степени порядка по сравнению с реальной жизнью... А если по моему понятию, то в фокусническом, миражном «порядке», придуманном для нас «великими писателями», которые велики не тем, что проникают глубже в некую «правду жизни», но тем, что лучше знают, как потрафить своим и нашим слабостям — разумеется, чтобы всем нам выжить, разумеется, чтобы выжить...

Видите, какие некрасивые вещи я говорю после того, как побывал в котле с кипящей смолой и не шибко благодушным красавцем вышел оттуда? Или еще не побывал, только собираюсь? Но у меня есть цель, мои парадоксы промежуточные, как промежуточна моя жизнь... Это там, в окончательно другой жизни я, быть может, стану благодушен, а здесь с чего мне меняться, с какой радости и стати?

Вот, например, расскажу как встретился в Нью-Йорке, с одним из моих друзей по шестидесятым. Он приезжал в начале перестройки, в 90 примерно году на какую-то литературную конференцию. Многие годы советская власть выпускала за границу только верных ей бездарностей, а тут разрешили выезжать людям, которых профессионально почитали в иностранных университетах. Мой друг был из тех, с кого начиналось то самое «духовное возрождение», и меня вдруг охватили противоречивые чувства. Пусть я презирал теперь все наши когдатошные совместные «горения и восторги», пусть испытывал глубокое равнодушие к книгам и статьям своего друга, а все равно для меня куда сильнее все-таки оказались восторг и даже подобострастие: этот человек внезапно явился мне как мимолетное и чудное видение, как представитель России, единственно родного мне мира, с которым я мечтал вновь соединиться. Могу сказать с изрядной долей презрения уже в свой адрес, что еще не привык тогда к одиночеству и думал, что могу избавиться от него, как это свойственно людям, путая местами его причины и следствия. До сих пор мое одиночество можно было считать следствием эмиграции, следствием неспособности вступать с американцами в те же человече-

ские отношения, то есть испытывать к ним те же чувства, которые испытывал к людям в России. Поэтому перестройка пришла как благословение и чудо, и года два-три я жил приподнятой и глупой верой, что вскоре все действительно переменится и Россия станет «демократической страной», что бы эти слова ни значили. По-видимому, мне неясно-розово мыслилась некая предреволюционная Россия с поправкой на сегодняшний день, короче говоря, какой-то абстрактный Идеал Порядка и Цельности. И ведь при всем том видел же я все те же знакомые по литературе российские черты институтки на выпуске! Я знал же тенденции... Но коли веришь, то всегда ведь глупо веришь: умной веры не бывает, равно как и умной любви, это можно еще у Платона вычитать. А тут владелец бакалейного магазинчика, где я покупаю бублики и сыр, говорит мне: «А, да, я знаю. Мне мой отец говорил: когда уезжаешь из своей страны, то через некоторое время обнаруживаешь, что не любишь ни ту страну, в которой живешь, ни ту, из которой уехал». Это он подметил, что я неулыбчив и неразговорчив, а сам он — американский француз во втором поколении. Мне его замечание не понравилось, но возразить было нечем, потому что он действительно очертил мою ситуацию, по крайней мере внешне. А что касается «внутреннего», то ему и положено оставаться внутри, этому-то я хоть выучился в течение жизни.

Так что, когда приехал мой друг, я испытывал самые разные чувства. Я умилялся, спешил предупредить его желания и в то же время иронически и свысока ухмылялся этим желаниям, ласково и насмешливо кивал головой, видя в них мои первые — и на теперешний взгляд никуда не годные — по приезду в Америку импульсы и комплексы. Когда он начинал говорить, я узнавал в его терминологии все те словечки, которые мы когда-то так важно и так «целиком» (то есть в цельности целлофанового пакета) заимствовали у дореволюционной русской идеалистической мысли, у Розанова, Бердяева и прочих, и которые теперь звучали для меня отжившими стереотипами. Из меня теперь рвалась моя собственная терминология.



гия. А он по-прежнему так же значительно, как аксиомы, произносил эти словечки! Помню, как я повел его в подвал к небызывестному поэту Кузьминскому на очередной его performance, где собиралась странная толпа из эмигрантских художников, поэтов, писателей или просто людей, которым приятно ошиваться вокруг «богема». И что же, я на всех этих людей весь вечер смотрел взглядом приятеля, заведомо предвосхищая его реакцию!

— Ну что, тебе понравилось? — спросил я, когда вышли на улицу, и он отрицательно покачал головой.

— Что, почвы нет? — снова спросил я, заискивающе заглядывая ему в лицо, на что он кивнул утвердительно.

Как будто я не знал, что он мне ответит! Как будто я не был с ним в этот момент согласен! То есть я, может быть, и вообще был бы с ним согласен, потому что по своим истинным первым импульсам я не меньший почвенник, чем он (что мне доказали двадцать лет жизни здесь), но я уже знал кое-что такое об этих людях, что моему другу и не снилось узнать. Я знал оборотную сторону медали, то есть оборотную сторону испытания эмиграцией, которую невозможно было понять приезжему из Советского Союза, каким бы умным и чувствительным он ни был. А ведь именно это испытание сделало из меня человека, а не почвенничество и не чтение Розанова! И поскольку это было сугубо интеллектуальное испытание, теперь я узнавал, насколько у нас никто понятия не имеет, что означает слово «разум». То есть, что у нас за разум принимается (и выдается) что-то наподобие магнитофона, лента которого покрыта сальцем важности и пошлости и потому непрерывно прокручивает все те же заезженные понятия и слова... И чем известней и затасканней понятие, тем более дрожащим от экзальтации голосом оно произносится, то есть тем больше мы полагаемся не на смысл, но на магию слов... Что разум наш совершенно напоминает разум средневековых схоластов, способный только на многозначительные вокруг да около толкования вместо прямой направленности на реальность...

Но, впрочем, вернусь к тому, что особенно запомнилось из встречи тогда с другом, о чем хотел вам рассказать. В ходе какого-то нашего разговора речь зашла о Достоевском, и я, желая исподтишка спровоцировать, напомнил, что Достоевский, кажется, говорил о своих колебаниях между верой и неверием. И тут мой друг произнес: «А как же!» и с чувством и ударением на каждом слове процитировал (ну и память!) известную фразу Достоевского о том, что он дитя века и потому дитя сомнения и так далее.

Это меня поразило, и моя задача — объяснить вам почему. Видите ли, если бы он пропустил мои слова мимо ушей, или подтвердил бы с сожалением, что, мол, да, проявил Достоевский в этом деле слабину, или даже — что было бы наивней, глупей и вообще не в характере моего друга — пустился в идеологические страстные объяснения, что в Достоевском преобладала вера, особенно в конце жизни, ну там Оптиная пустынь и прочее, то я так не удивился бы, хотя, конечно, это вызвало бы во мне раздражение и презрение. Но вот он стоял надо мной (я полулежал на диване), и настольная лампа отбрасывала его тень в верхний угол комнаты, усиливая эффект слов. Тут он еще выбросил вперед руку, как делают ораторы. Он вообще-то сдержанный человек и на моей памяти всего два или три раза говорил с таким неожиданным пафосом. Что же было причиной пафоса? Мой друг теперь был православный христианин и со своей стороны (после того, как побывал в правоверных пионерах и комсомольцах) вовсе не имел никаких сомнений в своей вере. С другой стороны, Достоевский был для него (как для всех нас, кто «возрождался» на основе русской идеалистической мысли) великий пророк России, в чьих писаниях мы искали и находили символику ее метафизики. Так что пафос можно было отнести к тому, что всякое слово Достоевского для него священно... но тут было еще кое-что другое. Он цитировал Достоевского как актер, подчеркивая слова, но не комментируя и не проявляя своего к ним отношения. Мол, вот слова, сказанные великим человеком когда-то, в *его время*, когда все было еще в неясностях и сомне-

ниях, между тем как сейчас нам *в наше время* все уже ясно — благодаря, кстати, в огромной степени Достоевскому же. О, мне все это было слишком хорошо известно. Люди нашего поколения и те, кто постарше — то есть те, кто первыми испытали шок переоценки советских ценностей, — какое-то, весьма значительное, время были совершенно убеждены, что обладают неким уникальным опытом и знанием, которого нет ни у кого в мире. Кроме этого знания у нас за душой, по сути дела, не было больше ничего, и именно потому мы так за него держались и так были в нем уверены. С чувством превосходства мы хотели это знание передать миру (то есть, конечно же, Западу), и то, что мир (Запад) не очень к нам прислушивался и совсем не признавал нашего превосходства, доводило нас до белого каления и рождало непрерывный сарказм.

А тут случилось, что — р-раз, и нет советского града Китежа, на дно ушел. И тогда вдруг все перевернулось, и оказалось, что наш советский опыт совершенно ничего не стоит для будущего и что теперь Россия уже ничего так страстно не желает, как обучиться у Запада и стать «цивилизованной нацией». Так что люди моего поколения оказались у разбитого корыта вдвойне, но признаться себе в этом они, конечно же, не могли. Теперь слова «цивилизованные нации» («цивилизованная нация») употреблялись в России так же часто, как слова «если это будет в воле Божьей», и люди моего поколения не умели и не желали отдать себе отчет, какого иронического рода эклектика имеет здесь место.

Итак, мой друг оставался нерушимо спокоен, будто на дворе стояли те же шестидесятые. Он цитировал Достоевского, и в его голосе была абсолютная уверенность, что если тот был дитя девятнадцатого века, то это его дело, а уж мы в двадцатом веке окончательно усвоили его урок и лучше знаем, что к чему.

Вот к чему я веду: к тому, как нами усваивался «урок Достоевского». В его творчестве нами ценилось не психологически общечеловеческое (термин «психологическое» нами пре-